



А. И. ГЕРЦЕН

Москва и Петербург

Печатая в первый раз небольшую статейку о Москве и Петербурге, писанную мною во время моей второй ссылки, т. е. пятнадцать лет тому назад, я исполняю желание моих друзей, между прочим того, который мне прислал ее из России. Статья эта нравилась многим и обошла всю Россию в рукописных копиях. Впоследствии (в 1846 г.) я напечатал отрывки из нее в небольшом рассказе «Станция Ёдрово»¹, но само собой разумеется, что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила резкие места, а они-то и составляют все достоинство этой шутки. Я во многом теперь не согласен, но оставил статью так, как она была, по какому-то чувству добросовестности к прошедшему.

И вы туда же, любезные друзья, сердитесь, что я, усевшись на берегу Волхова², говорю об одном прошедшем, как будто у нас нет настоящего, как будто нам положен тайный рубеж в истории — не вести исследований позже происхождения Руси, как будто важнейшее дело и событие в нашей истории — метрическое свидетельство о рождении, после которого так скромно жили, что нечего и рассказать... Тут я вас остановлю. Я потому именно стал говорить о прошедшем, что мне кажется, мы и в нем не жили, а только кой-как существовали. Но, пожалуй, в сторону прошедшее!

Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притя-

зания на прошедший быт, на мнимую связь с ним: она хранит воспоминания какой-то прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем, ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтись нельзя; Москва редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. Итак, о городе настоящего, о Петербурге.

Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало понял. Живши без занятий, не втянутый в омут гражданских дел, ни в фронты и разводы *мирных военных занятий*, я имел досуг, отступя, так оказать, в сторону, рассматривать Петербург, видел разные слои людей: людей, которые олимпийским движением пера могут дать Станислава или отнять место, людей, непрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей, не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб- и обер-офицеров; видел львов и львиц, тигров и тигриц; видел таких людей, которые ни на какого зверя, ни даже на человека не похожи, а в Петербурге — дома, как рыба в воде; наконец, видел поэтов в III отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде. И теперь, когда он начал для меня исчезать в тумане, которым Бог завешивает его круглый год, чтоб издали не видно было, что там делается, — я не нахожу средств разгадать загадочное существование города, основанного на всяких противоположностях и противоречиях, физических и нравственных... Это, впрочем, новое доказательство его современности: весь период нашей истории от Петра I — загадка, наш настоящий быт — загадка... этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишение их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, — понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей.

С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась. Первый, неизбежный шаг для Петра было перенесение столицы из Москвы. С основания Петербурга Москва сделалась второстепенной, потеряла для России прежний смысл свой и прозябала в ничтожестве и пустоте до 1812 года. Быть может, в будущую эпоху... Мало ли что может быть, и на-верное много хорошего будет в будущую эпоху, — мы говорим о прошедшем и о настоящем. Москва ничего не значила для человечества, а для России имела значение омота, втянувшего в себя все лучшие силы ее и ничего не умевшего сделать из них. Москву забыли после Петра и окружили тем уважением, теми знаками благосклонности, которыми окружают старуху-бабушку, отнимая у нее всякое участие в управлении имением. Москва служила станцией между Петербургом и тем светом для отслужившего барства как предвкушение могильной тишины. К Петербургу она не питала негодования, напротив, тянулась всегда за ним, перенимала и уродовала его моды, обычаи. Все юное поколение служило тогда в гвардии; все талантливое, появлявшееся в Москве, отправлялось в Петербург писать, служить, действовать. И вдруг эта Москва, о существовании которой забыли, замешалась с своим Кремлем в историю Европы, кстати сторе-ла, кстати обстроилась; ее имя попало в бюллетени великой армии, Наполеон ездил по ее улицам. Европа вспомнила об ней. Фантастические сказки о том, как обстроилась она, обошли свет. Кому не прокричали уши о прелести, в которой этот феникс воспрянул из огня? А надобно признаться, плохо обстроилась Москва; архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; дома, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, за-давлены фронтонами, огорожены заборами... И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже? Нашлись добрые люди, которые подумали, что такой сильный толчок разбудит жизнь Москвы; думали, что в ней разовьется народность самобытная и образованная, а она, моя голубушка, растянулась на сорок верст от Троицы в Голенищеве до Бутырок да и почивает опять. А уж Наполеона не предвидится!

В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые, только с ними скука смертельная; в Москве есть своего рода полудикий, полуобразованный барский быт, стирающийся в тесноте петербургской; на него хорошо взгля-

нать, как на всякую особенность, но он тотчас надоеет. Русское барство не знает комфорта, оно богато, но грязно; оно провинциально и напыщенно в Москве и оттого беспрерывно на иголках, тянется, догоняет нравы Петербурга, а Петербург и нравов своих не имеет. Оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так, как в Москве, где все оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей. Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва — тем, что она вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села. Петербург — *parvenu* *; у него нет веками освященных воспоминаний, нет сердечной связи с страной, которую представлять его вызвали из болот; у него есть полиция, присутственные места, купечество, река, двор, семиэтажные дома, гвардия, тротуары, по которым ходить можно, газовые фонари, действительно освещающие улицы, и он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые, умерли сотни тысяч работников.

В Москве мертвая тишина; люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом; в Москве после 10 часов не найдешь извозчика, не встретишь человека на иной улице; разъединенный быт славяно-восточный напоминает на каждом шагу. В Петербурге вечный стук *суеты суетствий*, и все до такой степени заняты, что даже не живут. Деятельность Петербурга бессмысленна, но привычка деятельности — вещь великая. Летаргический сон Москвы придает москвичам их пеккино-хухунорский характер стоячести, который навел бы уныние на самого отца Иоакима³. У петербуржца цели ограниченные или подлые; но он их достигает, он недоволен настоящим, он работает. Москвич, преблагороднейший в душе, никакой цели не имеет, большей частью доволен собою, а когда недоволен, то не умеет из всеобщих мыслей, неопределенных и неотчетливых, дойти до указания большого места. В Петербурге все литераторы — торгаши; там нет ни одного круга литературного, который бы имел не личность, не выгоду, а идею связью. Петербургские литераторы вдвое менее образованны московских; они удивляются, приезжая в Москву, умным вечерам и беседам в ней. А между тем вся книжная деятельность только и существует в Петербурге. Там издаются журналы, там цензура умнее, там писал и жил Пушкин, Карамзин; даже Гоголь принадлежал более к Пе-

* выскочка (фр.). — *Ред.*

тербургу, чем к Москве. В Москве есть люди глубоких убеждений, но они сидят сложа руки, в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот «Москвитянин».

Москвич любит кресты и церемонии, петербуржец — места и деньги; москвич любит аристократические связи, петербуржец — связи с должностными лицами. Москвичу дадут Станислава на шею, а он его носит на брюхе; у петербуржца Владимир надет, как ошейник с замочком у собаки или как веревка у оборвавшегося с виселицы. В Петербурге можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится; в нем даже русские церкви приняли что-то католическое. В Москве на другой день приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос. В Москве множество людей ходят каждый воскресный и праздничный день к обедне; есть даже такие, которые ходят и к заутрене; в Петербурге мужеского пола никто не ходит к заутрене, а к обедне ходят одни немцы в кирку да приезжие крестьяне. В Петербурге одни и есть мощи: это домик Петра; в Москве покоятся мощи всех святых из русских, которые не поместились в Киеве, даже таких, о смерти которых доселе идет спор, например, Дмитрий-царевич. Вся эта святыня бережется стенами Кремля; стены Петропавловской крепости берегут казематы и монетный двор.

Удаленная от политического движения, питаюсь старыми новостями, не имея ключа к действиям правительства, ни инстинкта отгадывать их, Москва резонерствует, многим недовольна, обо многом отзывается вольно... Вдруг является Александр Иванович Хлестаков большого размера — Москва кланяется в пояс, рада посещению, дает балы и обеды и пересказывает бонмо. Петербург, в центре которого все делается, ничему не радуется, никому не радуется, ничему не удивляется: если б порохом подорвали весь Васильевский остров, это сделало б меньше волнения, чем приезд Хозрева-мирзы в Москву. Иван Александрович в Петербурге ничего не значит, там никого не надуешь, ни силой, ни властью, там знают, где сила и в ком. В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца. Во всю свою жизнь Петербург раз только обрадовался: он очень боялся француза, и когда Витгенштейн его спас, он бегал к нему на встречу. В добрейшей Москве можно через газеты объявить, чтоб она в такой-то день умилилась, в такой-то обрадовалась: стоит

генерал-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ход. Зато москвичи плачут о том, что в Рязани голод, а петербуржцы не плачут об этом, потому что они и не подозревают о существовании Рязани, а если и имеют темное понятие о внутренних губерниях, то наверное не знают, что там хлеб едят.

Молодой москвич не подчиняется формам, либеральничает, и именно в этих либеральных выходках виднеется закоснелый скиф. Этот либерализм проходит у москвичей тотчас, как побывают в тайной полиции. Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается тверд в этой роли на всю жизнь. В Петербурге все делается ужасно скоро. Полевой в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным; в Москве ему было бы стыдно, и он лет пять вольнодумствовал бы еще. Вообще московские жиденские либералы начинают в Петербурге искать мест, проклинать просвещение и благословлять разводы. Петербург, как египетская печь, только скорее разворачивает скорлупу, а каков выйдет цыпленок — не его вина. Белинский, проповедовавший в Москве народность и самодержавие, через месяц по приезде в Петербург заткнул за пояс самого Анахарсиса Клоца⁴. Петербург, как все положительные люди, не слушает болтовни, а требует действий, оттого часто благородные московские говорители становятся подлейшими действителями. В Петербурге вообще либералов нет, а коли заведется, так в Москву не попадает; они отправляются отсюда прямо в каторжную работу или на Кавказ.

В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один Петербург, болотистая почва испаряет влагу; сырой ветер приморский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать шквала, который его затопит. В судьбе Москвы есть что-то мещанское, пошлое: климат не дурен, да и не хорош; дома не низки, да и не высоки. Взгляните на москвичей под Новинским или в Сокольниках 1 мая: им и не жарко и не холодно, им очень хорошо, и они довольны балаганами, экипажами, собою. И взгляните после того в хороший день на Петербург. Торопливо бегут несчастные жители из своих нор и бросаются в экипажи, скачут на дачи,

острова; они упиваются зеленью и солнцем, как арестанты в «Fidelio»⁵; но привычка заботы не оставляет их: они знают, что через час пойдет дождь, что завтра, труженики канцелярии, поденщики бюрократии, они утром должны быть по местам. Человек, дрожащий от стужи и сырости, человек, живущий в вечном тумане и инее, иначе смотрит на мир; это доказывает правительство, сосредоточенное в этом инее и принявшее от него свой неприязненный и угрюмый характер. Художник, развившийся в Петербурге, избрал для кисти своей страшный образ дикой, неразумной силы, губящий людей в Помпее, — это вдохновение Петербурга!⁶ В Москве на каждой версте — прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить с конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы — ничего перед этим. В Петербурге любят роскошь, но не любят ничего лишнего; в Москве именно одно лишнее считается роскошью; оттого у каждого московского дома колонны, а в Петербурге нет; у каждого московского жителя несколько лакеев, скверно одетых и ничего не делающих, а у петербургского — один, чистый и ловкий.

Надобно сознаться, что нельзя быть противоположнее воспитану, как Петербург и Москва. Петербург во всю свою жизнь видел только серальные перевороты, низвержения и празднования и вовсе не знает нашего старинного быта. Москва, выросшая под татарским игом и овладевшая Русью не по собственному достоинству, а по недостоинству прочих частей, остановилась на последней странице кошихинских времен и только по слуху знает о последующих переворотах. В свое время приедет курьер, привезет грамотку, — и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам Бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что Бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну, спящую с любовником на балконе Зимнего дворца, а потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает.

Нигде я не предавался так часто и так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими

минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон, в Москве можно прожить годы и, кроме Успенского собора, нигде не услышать проклятия. Вот чем она хуже Петербурга. Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние. В Москве до такой степени здоровье усиливается, что органическая пластика заменяет все жизненные действия. В Петербурге, кроме коменданта Захаржевского, нет ни одного толстого человека, да и тот толст от контузии. Из этого ясно, что кто хочет жить телом и духом, тот не изберет ни Москвы, ни Петербурга. В Петербурге он умрет на полдороге, а в Москве из ума выживет.

«Да что, черт возьми, — скажете вы, — говорил, говорил, и я даже не понял, кому вы отдаете преимущество». Будьте уверены, что и я не понял. Во-первых, для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы, но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства, то это дело конченное; во-вторых, все живое имеет такое множество сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое суждение — односторонняя нелепость. Есть стороны в московской жизни, которые можно любить, есть они и в Петербурге; но гораздо более таких, которые заставляют Москву не любить, а Петербург ненавидеть. Впрочем, хорошие стороны найдутся везде, даже в Пекине и Вене: это те три человека добрых, за которых Бог прощал несколько раз грехи Содомы и Гоморры, но не более как прощал. Увлекаться этим не надобно: везде, где много живет людей, где давно живут люди, найдется что-нибудь человеческое, что-нибудь торжественное и поэтическое. Торжествен звон московских колоколов и процессии в Кремле, торжественны большие парады в Петербурге, торжественны сходбища буддистов на Востоке, при свете ста двенадцати факелов читающих свои святыя книги. Нам мало этой поэтической стороны, нам хочется... Мало ли чего хочется.

Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Через этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверное, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!

